

**-С**

тепанида, подавай на стол!

— Поспеешь, не помрешь, — отрезала Степанида. — Поросянок визжит, прежде его покормлю.

За дверью, в сенцах, месячный поросенок-молочник заходился визгом.

Грубо навалившись локтями на стол, старик задумался о работе, о кузнице. Времена пришли поганые, такие поганые, что на излете жизни пришлось вспомнить забытое ремесло, на исходе жизни и сил открыть кустарную кузню, вспоминать навык работы с отцом-покойником... Отыскал он в бане, наверху за навесом, закинутый и забытый мех, отыскал молотки. Вот помощника бы еще; какой она, баба, помощник... Он покосился на жену: «Вона, пожрать — и то не дождешься...»

Глаза его мутно-серые слезятся. Руки страшны иссиня-черными буграми вен с припухшими ревматическими суставами.

— Скоро? — вновь спросил Данила.

Привычно работая ухватом в печи, бабка Степанида, потная, суровая, с подтыками длинной юбки у пояса, не удержалась, завелась:

— Ай, горит? Да провались она в тартарары, твоя кузня. Она нам не кормилица.

Каких только слов не наслушался Данила от жены за долгую совместную жизнь, но то, что он услышал в эту минуту, резануло по сердцу бритвой:

— Не кор-ми-ли-ца? Ишь, что сбрезала, чертова баба!

Степанида и бровью не повела: выпрямилась, одернула подол синей ситцевой юбки, зло и раздельно выпалила:

— Истинно так. Работаем от зари до зари, а куска хлеба в доме нет!

— Кругом сыр-бор, всю Русь-матушку растащили, а ей только чрево набить. Хлеб-то нам не довели из Центральной, с элеватора, — да может быть он, хлеб-то, прямо в войско, в Чечню и пошел, нашим детишкам увезли. Их ведь там, небось, трое. Надо обуть-одеть. Прокормить. А?

— На! — Степанида стукнула на стол большую разлатую глиняную тарелку «толчка», мятой картошки. — Ешь, пока посинеешь! Ты бы не пускал детей на войну, ай им там место? Робыли бы во дворе, косили цветошник бы да сенца насушили, сажали бы картошку... Прожили бы.

«Бессолая, как трава», — мысленно говорил себе Данила, перекосив губы и обжигаясь. Не обращая внимания на еду, он невольно стал думать о Чечне, о сыновьях — Ваньке и Петьке, ушедших по контракту. Голодно, поди, им там. Но больше всего терзался кузнец воспоминаниями о дочке Маше. Помнилось ему: работает он в слесарке, в хорошие времена, на станке. Станок токарно-винторезный визжит резцом, гонит стружку, которая из серебристой становится черной на глазах, остывая. Вдруг крикнут ему, тронут за плечо. Он снимет очки — и вот она, Машутка, тут и есть: пришла с обедом. Суп в горшке, каша с маслом в большой железной миске, как и сам он носил отцу в далекие прифронтовые времена. Подойдет, бывало, поцелует в небритое лицо и пропоет... Ишь, то-то уж и сорока-девка, ласковая, а стрекотала: сядет и все щебечет, все щебечет. Все расскажет, век слушал бы ее. Вспомнил, и душа обмякла, лицо расплылось в улыбке.

— Почто ощерился-то? Или деревянный рубль увидал под столом? — сострила Степанида.

Данила пропустил эти слова мимо ушей: он в этот миг слышал голос любимой дочери.

Степанида, открыв дверь в сени, остановилась у корыта рядом с чавкающим поросенком. Розовый луч дневного солнца из-под обрешетника крыши вытянулся во все сенцы, дальше в избу, лег пятном на худые ребра поросенка. Запустив морду до глаз в долбленое корыто, молочник цедил жижу сквозь зубы, ловил картошку на дне. Вдруг приподнял рыло, посмотрел прямо перед собой и ковырнул пятаком корыто. Помои выплеснулись на босые ноги Степаниды.

Данило зло посмотрел в сени, бросил ложку на стол:

— Глупая скотина. Опрокинул корыто и собирает с пола. Ца, зараза, ца!

Старуха поддала хватом поросенка. Тот, взвизгнув, отскочил как мяч.

— Наелся, ай нет? — спросила она мужа.

— Наисся тут с вами, — буркнул Данила. — Свинья да баба, дурей, видно, ничего бог и придумать не мог.

— Сам-то хорош, — обиделась Степанида. — Ишь, брови-то понавесил, ровно кот на сметану.

Данила, тяжело вздохнув, вылез из-за стола, снял с полатей картуз и, глухо хлопнув им по привычке о ладонь, надел козырьком назад, окликнул:

— Пошли, в кузню пора.

Сложив багровые губы, с тяжелой думой шмыгает Степанида. Ноги

мосластые, кривые, с синими вздутыми венами на икрах, с подагрическими шишками. Насквозь прорезанные и обрезанные чуни. Тяжелый ход то в горку, то под гору.

— Ить вот лаисся ты на меня, а помру — небось выть будешь? — хитро прищурившись, спрашивает Данила.

Старуха отмахивается:

— По ком плакать-то, кожа да кости. На чем душа держится, хоть сейчас ополосни, да и в гроб. В могилу и то краше кладут, одна неугомонность осталась.

Иногда она и впрямь силилась представить себе жизнь без супруга, но так ничего и не видела. Данила казался вечным, и если кому и уходить, то ей, и это было ясно, как божий день.

Новая «Нива» председателя пропылила между палисадником и ремонтными мастерскими, от которых остались одни развалины. Старуха решительно направилась к нему.

— Ты старика-то моего в гроб, что ли, загнать хочешь, нехристь! Он еле ноги таскает, видишь ты, а ты с кузней затеял — и в сторону. У него работы прорва, а деньги-то кой-какие положил, да и тех не видим.

— Дадим, дадим, бабка, не деньгами — так вот, отсеемся, пшеницей, натурой отдам. Время — сами знаете, хуже войны, загнали село, запарили: бензин, корма, электричество — все в гору. Хлеб — по закупке все дешевле, а спекулянты, гля... Нарочно валят, под корень секут. Нынче в договор вошел: никак не меньше, чем семь тысяч за тонну. Не сдержим слово — конец нам...

— В газетах-то что печатают, скоро кончится бардак-то? А Чечня... Угомонились там они или нет?

— Не скоро еще, отец, угомонятся, — отвечал председатель, перемежая слова с одышкой, со вздохами крупного своего тела и уводя разговор в сторону от насущных проблем. — Кавказ, дед, Кавказ. Так вот и эти бандиты там, в Ичкерии, взрывают фугасы, горло режут солдатакам...

— И нужна нам она, эта самая Ичкерия? Выйти оттуда и забыть. Ай, своей земли мало. Своей-то не обиходим, бросили совсем. Поля березками заросли, даже и змея, даже и уж не проползет. А и та, что осталась у них, на Кавказе, гориста, хлебушек не родит.

— Там нефть, батя. Черное золото. Джихад. Он весь мир завоевать хочет, — кратко и просто пояснил председатель.

— Ну-у? — удивился Данила. — Такая козявочка — весь мир?

— У них вера, батя, а у нас?

И Даниле представилось большое поле, ровное и сплошь в хлебах. Бородатый наемник в образе и подобии плакатного врага времен Второй мировой войны: руки засучены по локоть, сам — с автоматом и фугасом через плечо, на лбу зеленый платок-повязка, как, бывало, видел он в новостях по телевизору...

Тракторист-частник промчался напрямую по колеям, спяну заснув за рулем и мотая от тряской дороги головой как мертвый. Председатель кинулся ему наперерез, стал кричать и махать руками. Данила двинулся вперед. Степанида не отстает. Село вытянулось в два порядка. Молодая зелень блестит на солнце, но не радует глаз. По селу — разруха, как от бомбежки. Молодые уехали на заработки в города или по вербовке, детей кинули на родителей, на бабок.

— Что с них выйдет, а, старуха?

— Из кого?

— Да вот, из детишек-то... Сироты при живых родителях...  
Увидев кузнеца, ребяташки бежали издалека, позабавиться. Один кинулся впрысдку, выпевал, весь чумазый:

Ой, Данила, дед Данила,  
Тебя бабка заморила!

— Брысь, безотцовщина, зауглы окаянные, ай, он вам ровесник? — вскинулась Степанида.

Данила со смехом понужал:

— Этак, этак, вот молодец, а дальше? Заморила, заморила, ее грех...

Ку-знец, молодец,  
Вся моя отрада!

От дороги вдоль выгона, чуть влево и вперед, и вот она — тут и есть, «кузня-кормилица», присела у глубокого оврага. Серо-седая, как старая и добрая мать. С покосившимся одним-единственным окном. А вокруг: старые розвальни, ломаные плуги, рессоры, динамо от трактора — все ржавое, гнилое, в земле и зеленью заросшее, с бурьяном вперемешку.

— ...Ждут, — говорит Данила, подходя к кузне. — Все ждет хозяйина...

На крыльце кузни сидели-распивали трое мужиков — один другого угрюмей, все в обносках. Воняло кислым, давно невымытым.

— Посмотрю я на вас, мужики, ровно через молотилку пропущены: излом да вывих. В город на заработки — и то не годитесь, сеете плохо, с плугов да телег все гайки порастеряли. Ребятишек-то, поди, и тех — не можете, а? Или недосуг, не до ребятишек? Бабы-то ваши все телевизор смотрят?

— Не выключают. Им не до нас, а нам не до них.

— А нам еще и лучше... Нам — пускай смотрят. А работать — какая работа с похмелья. С утра выпил — день свободен...

— Работа — она не кой-там чего, постоять может.

Данила щелкает выключателем, отворяет настежь дверь кузницы, командует с озорством:

— Стешка, дуй!

Степанида, набросав лучинок, зажигает охотничьим серником грудку древесного угля, налегая на ручку, на меха, раздувая фиолетовое пламя, тоже балагурит в тон мужу:

— Данила, куй!

Пыль кипит-волнуется в узких лучах солнца. Застоявшийся запах пара, гари, древесного угля возбуждал в душе кузнеца необъяснимое чувство радости, гордости: что надо быть человеком, оставаться человеком до конца. И пока Степанида раздувает пламя горна, греет, он укладывает заготовки. Данила готовил инструмент основательно: осматривал молоток, наковальню.

Все заботило Данилу в кузнице: и покосившееся окно, и подносившаяся наковальня, и худая крыша. Берет клещи — думает: «Ивановы». Смотрит на зубило: «Петька подарил». Приедут сыновья — можно и на покой уходить.

Бывало, возьмутся сыновья за заготовку и так горячо, рьяно жарят по ней кувалдой. Данила, сдерживая гнев, учил:

— Бей тонко, с оттяжкой, пяточкой. Чувствуй силу удара — от этого и прочность поковки.

А если закурят, так загремит:

— Два дела делаешь? Или курить — или работать! Только запори мне изделие!

— Чо ты, батя, кипятишься. На твой век железок хватит. Ну, испортим, так и что ж?

— Хватит? Сколько людей потело над рудой, железо из нее выводили! Эх, Петра, Петра... — сокрушался Данила.

Теперь Петр награжден медалью «За отвагу», вырезку присылал из газеты. И фотография в разворот. «Награжден»! Кузнец стоял у наковальни, вспоминал о детях, мысленно ругал себя за грубость. «Может, уж нет в живых Петра-то, — с горечью думалось. — Иван и Машутка пишат, а Петр как в воду канул...»

Кузнец засуетился, схватил клещами заготовку, налитую соломенным блеском, и ну жарить по ней молотком. Золотая окалина порхает, жжет фартук. Изредка остановится, шоркнет рукавом по потному лбу и снова за работу.

— Не спеши. Отдохни чуток, — говорит ему Степанида. — Пошто торопиться, успеешь...

Прокрав все заготовки, Данила кладет на наковальню клещи и садится рядышком с женой. Степанида, раскинув юбки, сидит широко, расставив ноги в рваных калошах, смотрит на разбитые сапоги Данилы и думает: «Чем кормить старика в обед? Пшенка да мука. Да вот еще — картошка. Утром картошку не ел...»

К обеду Степанида выпросила-таки у соседки маслица, разбила пяток яиц. Замесила пирог-стародум, без дрожжей, на ужин. Налила щей из молодой крапивы.

Ели молча зеленые щи, и бабка все вздыхала, поглядывала жалостливо на Данилу. Тот ел плохо, все откладывал ложку в сторону.

— Вздремни часок-другой, — уговаривала, убирая посуду со стола. — Весенний день долог, успеем.

— Идти надо, — отвечал Данила, хотя полежать ему хотелось: ломило поясницу, ныло сердце. — Обещал к вечеру отковать две ости.

— Успеешь. У них все срочно... — ворчала старуха.

— Да ведь не для них ости-то, для России!

Старуха фыркнула в уголок платка.

— Нужны ей твои ости-то, России, ржавые твои железки. Совсем ты, старик, одурел от телевизора.

— Глупая ты старуха, — обиделся Данила. — Без железок ни плуга, ни бороны не изладишь. А не изладишь — насидишься без хлеба. Помнишь, еще по молодости-то плакат висел в конторе: «Не только штык, но и колос врага колет».

— И-и, вспомнил. От нынешних-то врагов ни колос, ни штык не спасет, не-ет... Их ныне не видно. В атаку на них не пойдешь, круговую занимай оборону!

Жарко, душно в избе. От горячих щей, от слабости кузнеца бросало то в холодный пот, то в жар. Он с трудом открыл окно. Ветерок потянул прохладой, освежил грудь и лицо. Еще больше захотелось прилечь, завести глаза.

— Пора, — пересиливая боль в пояснице, торопил Данила.

И опять потянулись они вдоль развалившейся череды домов к «кормилице»-кузне.

Вечером село окутал мутно-серый рыхлый туман, в кузнице стемнело. Степанида вылила остаток грязного керосина в допотопную лампу с треснувшим пузырем: вот уж с зимы — потемки, с заговенья бродяги по-снимали на металлолом алюминиевые провода. Трансформатор не гудит теперь, как бывало раньше, издавека слышно. Насиделись без света...

— Ну, я пойду. Приготовлю ужин. И ты не задерживайся тут.

— Иди. Уберусь и приду.

— Посуду поди-ка опять чинить будешь бабам деревенским?

— Нынче не придут. Поздно уже.

— Ты бы хоть керосином с них брал. Или хлебом.

— Еще чем взять посоветуешь? — сурово переспрашивал Данила. — Они вон откуда едут, из соседних сел. Новое купить не на что, оттого и несут в починку. Барахло. Барахло же несут, какая за барахло плата?

— А то что же даром-то? Даром и чирей не садится. Сказано: сухая ложка рот дерет.

— Не раздерет!

— Ну, околачивай руки-то задарма, околачивай. Они и так у тебя, ровно у лешего.

Часто вечерами приходили женщины из окрестных сел: кто чайник принесет — отлетела ручка, кто кастрюлю — дно запаять, кто подойник — долой ушко. «В сельмаге не укупишь». — «Пенсию из района не дождешься...» Вот и ходили в кузницу. Данила отказать не мог, не умел. Вот и сейчас, только что ушла Степанида, и, словно ожидавшая ее ухода, тотчас нагрянула Пелагея со сковородником. Данила уже собирался закрывать, смахивал окалину с наковальни, складывал инструмент.

— Митрофаныч, сустрой, милай, — запела вдова. — Как без рук осталась. Горячую сковородку руками-то не возьмешь из печи.

— Знамо, не возьмешь. Что бы ты пораньше-то.

— Как?

— Завтра приходи...

— На работе пласталась, бороновали.

— Придется покупать новый. Этот — шабаш, зев выгорел...

— Мила-ай...

И Данила греет заготовку, Пелагея помогает, подкладывает уголек. Украдкой выставляет бутылку самогона. Данила не видит бутылки. Упрямю не видит.

Истолковывая это по-своему, вдова опять поет:

— Я тебе, Митрофаныч, утром хлебца принесу, свежего, свойского. Без подмеса, за твою работу...

— Не надо, у меня есть. Ты племяшей своих корми. Тюрю с молоком совастожь им — сытно. Они у тебя вон какие частушки складывают, ровно артисты.

Поздним вечером Данила закрыл кузницу, часто и нелегко дыша. Самогон хоть и замолаживал, разгонял кровь, словно возвращал юность, да припекало что-то в груди. И стакан вонючего первача натошак сшибал дыхание, торопил сердце, томил одышкой. Теплый майский ветер дул порывами. Где-то брехали собаки, квакали лягушки в овраге за кузней. И в этом кваканье старику чудилась отчаянная жизнь, как у людей, беспощадная нынче, война:

— Ур-род, ур-род, — дразнила жаба одну другую.

— А ты какова, — отзывалась другая, — ква, ква...

В середине села, на бревнах, играл кто-то на баяне. Тосковал в лю-

бальной истома, терзал клавиши. Одиноко играл. И не подпевали ему девки, как это было прежде, как встарь, все об одном, все о том же.

Кузнец любил музыку, гармонь волновала сердце воспоминаниями о былом, об ушедшем. Подошел к гармонисту, приложил к уху ладонь, гармонист кивнул. Данила глухо топнул сапогом и, снимая под лихой заигрыш с себя пиджак, скидывая его, раскрылился, сделал выход и прошелся с притопом. Потом смело кинулся в пляску, как в омут:

Тягька кузницу сустроил,  
Я кую, кую, кую...  
Шестьдесят четыре пуда  
Поднимаю...

Пел он, работая ногами и теряя последние силы, задыхаясь, закончил:

Ах ты, милочка моя,  
Сорока белобокая,  
Раньше я к тебе ходил,  
Теперь — гора высокая...

...Степанида отстряпалась, в поиски пустилась. Она искала «неугомонного» долго. Ходила в кузницу, заглядывала и в ветхий сарай на задворках, за кузницей. Даже на скотный ходила, «на баз», не выдержала одиночества:

— Как провалился!

И вдруг услышала его голос и глухой крепкий топот, заголосила, завывала, подходя к зевакам, хохотавшим, глядя на деда, завывала, как по койнику:

— Окаянный, неугомонный!

Видно было, что Данила пьян и пьян крепко. Натощак хватило ему и полбутылки.

— Данила, Данила! — рванула она за рубаху.

Более притворяясь пьяным, чем на самом деле спьяневший, дед нарочно потешно-комически отбивался от жены под общий смех соседей, никак он не поддавался на ее уговоры. Потом шли под руку, Данилу гнуло и клонило.

— ...До ста лет жить хотца, Стеша, — говорил он. — И вот, думал я, что хоть не молод уже, а повеселю народ. Ан нет, задвохаться стал. Приходит всему предел, знать, прошло и мое времечко.

И всю ночь тяжело спал старик, с полукрытыми глазами, как мертвый. Степанида тяжело вставала в ночи, не зажигая свет, в светлую весеннюю ночь, спрашивала, заглядывая в бледно-синее лицо мужа:

— Сердце болит, Данилушка?

...Утром два выстрела, один за другим, взбудрили тишину деревни, ударили, эхом отозвались, догнали друг друга, встретились и сплелись. Кольцом сошлось эхо и умерло вдали четырежды.

— Эка штука, — сказал, привставая и вслушиваясь, наваливаясь на подоконник грудью, Данила. — Глянь-ка, стреляют, никак — охота.

— На кого? — насторожилась старуха.

— Вот, бог знает, кто и есть: для уток — поздно, май уже. Да и на терева поздно. Уж не городские ли?

— Городские и есть, наши давно не палят, не на что баловаться, на хлеб не хватает.

На горизонте повис столб: густо и плотно шел-поднимался шлейф пыли, словно гарь за подбитым самолетом, вздымалась пыль вверх, обозначая путь горбатой иномарки, шлейф пыли заволакивал дали, медленно полз под угор. Грозный клаксон причудливым звуком оглашал окрестность. Клаксону вторила визгливая музыка. Упруго била она, эта заморская музыка в динамики «Ланд-Ровера», вытряхивалась на улицу. Глухо и непривычно трещало в сплетении звуков, рег-свинг, граунд-свинг... — кто-то брэнчал глухо на банджо, перемежая аккорды с чехардой перестуков непонятого инструмента, то ли бубна, то ли барабана, словно палкой по забору частил опытный джазмен, тер как бы палкой по стиральной доске.

— Ух, открой, Валера, открой окно! Душа воли просит! «Вот моя деревня, вот мой дом родной...»

— Деревня — это да, деревня твоя — красавица: «Утонула деревня в ухабинах...» А в курицу ты даже и с двух раз не попал! Шефу скажу, пусть в тираж тебя спишет: слепой ты, нет, не стрелок, не личный ты охранник.

— В тираж? Да где он такого найдет... Я — боец! Слышишь, ты... Как там тебя, водила!

Мелко семеня, удирали из-под колес куры, спешили в сады, пролезали сквозь колья частокола и метались в стороны растерянно, едва умея отыскать прогал. Чья-то собака бросилась сдуру под колеса, да вовремя отскочила.

— Эх, гляди, чудо-то!

Теленок на длинной веревке долго и неподвижно смотрел на машину, пережевывая траву, и так же внезапно, потеряв интерес, отбежав на длину веревки, дернул так всю ее так, что едва не вырвал вбитый в землю кол.

По-своему поняв намек, пьяно ткнув локтем в бок водителю, и опять захохотал, замахал в окно пистолетом «личный» охранник.

— Кончай шмалять, всю деревню поднял, — окоротил шофер друга. — Лучше подсказывай, как и куда.

— Рули вперед, все время вперед! Давай, давай, ямки, дави на газ, Валера!

Коротко стриженный и губастый охранник — «телок», с крупной грудью, сдавленной узкими бретельками черной стильной майки, с мотающейся поверх кобурой, свистал, хохотал, подстукивал от нетерпения и топал в такт музыке. В открытое окно гнало дым сигары шофера.

Машину в засохшей глине по колее валяло то в одну, то в другую сторону. Но колея держала каменно.

— Против колодца сверни. Пятистенок рубленный, рули под тополь. Туда, туда. Приехали.

Грудастый охранник, предвкушая радость встречи, выдавил в рот душистую конфету из цветной коробки. Рыжий водитель затормозил, выдохнул ароматическим дымом. Выщелкнул мокрый окурок сигары из окна подальше.

Подъехали бойко, качнуло от тормозов. Посидели, прикрыв окна автоматическими кнопками, пока уходила-плыла прочь пыль и опадала, обгоняя машину. И все долбила и долбила в динамики, не переставая, сумасшедшая музыка, мягко и громко ударяя в акустические колонки, словно музыканты, примеряясь к обстоятельствам, искали свои ноты, тонкие и причудливые, чтобы удивить, изумить, ошарашить деревенских аборигенов.

Приехавшие едва слышали друг друга, общались знаками, как немцы: все трещало, жило, плыло, играло и разговаривало. Мягкие сиденья из кожи не могли погасить тройного напора звуков. Саксофон вел партию самыми причудливыми тропами, а банджо вторило саксофону, то догоняя, то отставая, чеканил и частил упрямый ударник.

— Ну и дичь тут у тебя, страна-Муравия. Вот она где была бы — настоящая-то охота. А шеф платит бешеные бабки за стояние на номерах, ты сюда его вези, покажи заштатное житье родной деревни. Как можно было родиться в такой глуши и не быть охотником, скажи мне, Оцеола? А ты? Не попал в курицу с двух раз, вплотную!

— Это ж тебе не «ПМ», а «Ижак», а проще — «ишак», дерьмо, а не пистолет. Менты выдумали и вооружили «ЧОПы». Четверть прицельной мощности и поражающей силы... Дерьмо, а не пистолет. Нарочно разрабатывали и внедрили барахло, понимаешь?

— Понимаю! Плохому танцору — всегда паркет скользкий.

Говорить было трудно: так шумно, скоро и гнусно менялся репертуар.

Дед Данило, приваляясь грудью к подоконнику, пристально и близко-руко долгим взором вперился в окно на подъехавшую иномарку: чудней и шикарней автомобиля он в жизни своей не видывал. Степанида испуганно растолкала створки окна и, тут же заохав, мелко и часто крестясь, села на табурет.

— Ты что, бабка? — Данило все никак не мог понять, что же случилось. — Чего ты, старая?

— Выдь-ка, выдь да глянь, старик. Гляди, ведь это он сам и есть...

— Кто?

— Да ведь это Петя?! Это... или это Петро к нам?

И, всплеснув руками, старуха бросилась на улицу.

Старик, сдвинув брови, стал пробираться вдоль печи, отыскивая опору. В полутьме через сенцы, все путаясь, проваливаясь руками в темные углы и прислушиваясь к стуку собственного сердца, сразу упавшего, заатаившегося и вновь ударившего в грудь сильнее и тверже, Данила выбрался на крыльцо, удивляясь своей шаткости и предательски ушедшему из-под руки дверному косяку. Тотчас и подвернувшийся молочник завизжал от пинка вбок.

— Кто это? Петя? Ты как здесь? — выкрикнул он и сам поразился слабости и осиплостью своему голосу. Так и стоял на крыльце, беззвучно разевая рот. Старуха кинулась на грудь вышедшему из машины. Сын Петро — косая сажень в плечах, черная майка на узких лопающихся бретельках, а по ней рисунок: белая обезьяна над штангой с изогнувшимся грифом и надпись не по-русски «Boss»...

Петя чуть прихрамывал от долгого сидения, растирал затекшие ноги.

— Не признаешь никак, батя? А постарел... — и, не поясняя, кто постарел, добавил: — Ты прямо это... Как капитан дальнего плавания на мостике, ага...

— Мать, а, мать, — сипло позвал Данила жалостливым голосом, — это Петя? Он?

Взмахнув платком, стянутым с плеч, шагнула старуха со ступень крыльца и чуть не подвернула ногу.

— Ты чего, мать, чего воешь-то, как по мертвому? — Петро обнял ее, пропев: «Дорогие мои старики...»

— Пожалей ее, пожалей, Петя, — узко и торопливо шагая-сходя по

ступеням с крыльца, сипло попросил Данила. — Плохая она, плохая совсем здоровьем. Еле-еле живая...

— А ты?

— Ну-у, я еще нормально, я в силах.

— А болезнь-то твоя, вечная...

— Какая?

— Птичья, «перепил» называется. Похмелиться-то не хочешь?

— Теперь другая болезнь, называется «дай поесть». Жрать нечего, голодуха у нас по селам. У кого пенсии — еще купят хлеб, если дети не пропыют их деньги, не отнимут. А молодые — все безработные. Заработать — негде, швах.

— Угощаю! — вскрывая бутылку шампанского, стреляя пробкой и пачкаясь белой пеной, весело кричал Валера-шофер, натерпевшийся по веселому питью за рулем. — Угощаю! Пою и кормлю! Все оплачиваю сам!

Петька обнял плачущую мать, правой рукой ухватил бутылку:

— Валера, разбирай, разбирай багаж. Провиант в горницу, скарб в сени, так, батя? А вот это, Валера, он, это и есть мой батя. Силач, кузнец, характер!.. Отец, а это — Валера Вихров, собственной персоной. И шофер, и помощник, и друг. Один в трех лицах. Что? Ну, значит в одном лице. Верный слуга своего шефа. Лучший шофер Москвы и окрестностей. Всех времен и народов, да! Валера, неси все в дом. А виски осталось у нас там? Ночуем в хате на пуховике. Можно и выпить от души. Заслужили. Три дня гудим, как флюгера на ветру: у-у-у...

— Там, в багажнике...

— Ты стакан тащи, свой большой, «семиглотошный». В маленький-то у него, Валера, нос не лезет, он из маленького не пьет. Только из большого. Да чтоб с горкой. «Всклень» называется. Чего стоишь да головой трясешь, отец, счастьем своему не веришь?

Желтый, как утренняя моча, виски плеснули в два стакана, отец и сын.

— Валера, а ты?

— Я не бу-у.

— А мы будем. Будем, отец?!

— Будем. А закусить?

— Вот, батя, пахлава, бери. Коржик сладенький с толченым орешком. Восточная сладость.

— Ну и выпить ты нашел, Петро, хуже самогона. Под него бы... грибки соленные.

— А есть? В погребе?

— Мать, дай фонарь, фонарь мой где-то немецкий, я в погребок нырну за грибочками, я мигом. И сметанки наберу... Стой, стой, Валера. Вот гляди. Какие дела. Ты городской. Тебе не понять, а я давно изумляюсь: вот гляди, видишь, церковь шатровая, золотые купола. Каменная. Русский крестьянин в лаптях ходил, а купола позолотил. И люди жили, те крестьяне, что строили ее из камня самородного, у этих людей крыши изб камышом были крыты. Слышишь, Валера, не жестью и не ондулином — камышом. Не веришь? Я еще застал... Мам, как так — нет фонаря, а где же он?

— А она его, Петя, на печи оставила зимой. А печь протопили как следует, он и расплавился, батарейки поплыли, щелок из них замылился.

— Мам, зачем же ты его на печь-то? Хоть на паличку или на шесток бы поставила.

Яма амбара — холодное чрево сруба с бегающими мокрицами, встретила Петра недружелюбно. Подгнивший рубленый в лапу сруб слоился гнущими от старости и тяжести земли рваными бревнами, угрожал падением. Заговорившие под его ногами ступени лестницы, запах мокрого смородинного и вишенного листа из кадки вмиг окунули его в детство. Петька с закружившейся головой присел. С удовольствием дышал он и вглядывался в полутьму. Промытая алкоголем душа с обострившимися чувствами, ностальгировала. Было глухо, темно и беспокожно. Тайная веселость трогала сердце. Лечь бы прямо вот здесь. Свернуться клубком по-собачьи, все оставить-забыть. И шефа-охотника-коммерсанта, что напившись пьян, отпустил в деревню погостить, и недостроенный дом из пеноблоков с неудачным фундаментом в Подмоскowie, и все-все... Пришло на память, как сестра в детстве боялась лягушек, а он нарочно бросил лягушку в крынку здесь, в амбаре. Да и послал сестру за сливками. Лягушка плавала, не давала сливкам согреться. Машка, спустившись в амбар, вдруг завизжала как резаная. Братья хохотали. Подтрунивали: «Машка, где сливки? Перевернула?..»

— Мать, а где же сливки к грибам? — вылезая наверх по певучим ступеням, крикнул Петр, поднимая в ковше оранжевые соленые черныши в смородинной ливне. — Или все съели?

— Какие сливки, сынок, коровы-то нет давно. Я косить не гожусь, отец — тоже. Вон они, руки-то, не разгибаются. И у отца артрит. Не руки, а крюки.

— Ставь багаж на крыльце, малый, — сипел Данила.

— Валер, ставь тут, не суетись. На-ка, на, пистолет-то, спрячь его в багажник. А то гости соберутся, перепугаем еще, чего доброго...

Данила, как выпил, так тут и сел с пустым стаканом в руке. Сидел, двигал бровями, тяжело сопел от удовольствия.

— Подожди, не гони коней... Пусть пожжет. Петро, а я о тебе вчера сон сбредил. Зуб у меня будто бы выпал, коренной. С кровью. Вот она и впрямь — кровь своя родная — ты приехал.

— Ты бы раньше сбредил, старый. Хоть на годок один, — упрекнула Степанида с нахнувшейся слезой.

Валера принес опять. Разлили.

— Мать, а тебе?

— Ну ее к лешему.

— Поехали... Гадость какая... Фух...

— Между первой и второй — промежуток небольшой.

— Три тысячи рябчиков бутылка, батя. А ты говоришь — гадость.

«Блек Джабел». Во, читай...

— Что ты? — испугался Данила, даже жевать перестал. — Три тысячи? Это ж полкоровы!

— Ну, за шесть тысяч никто коровы не продаст, хотя в вашей «очумеловке» — шут его знает. Нищета тут такая, что, пожалуй, и продадут, а?

Валера поперхнулся, закусывая ветчиной, засмеялся, закашлялся. Ему услужливо застучали по спине, чтобы не подавился.

— Чертово тырло! Дожди пойдут, гляди-ка, и на джипе не вылезешь... Вот откуда я родом, Валера. Как вспомнишь — так вздрогнешь, со стыда сгораешь: из дикарей сиволапых. Уж ладно бы Германия или Дания, ну хотя бы Рига, а то село Мукасеево на речке Вобля.

— Речка хорошая, да. Щука опять пошла. А ты был там, в Германи-

ях-то, сынок?

— Был... Не был, а жил. Недавно опять оттуда. Вот житуха, шик. И одежда, и люди умные, словом, другое измерение.

— Петя, а ты на сколько к нам? Поживешь?

— Дня на два, шеф отпустил. Как позвонит — надо отчаливать тем же часом. Он в охотохозяйстве, верст сто отсюда. Пока доедешь...

— Отпустил, значит?

— Он пьяный — добрый. Батина болезнь у него, «птичья», вот боюсь: не заразная ли. Ты что, мать, плачешь, что ли?

— Столько годочков не был, и — на два дня?

Через полчаса вышли на крыльцо, заметно повеселевшие, сытые. С дымящимися сигаретами — черными тонкими и белыми.

— А хорошо тут у вас, батя, и, что главное — тишина. И такая свежесть, даже сила откуда-то. Как в детстве: кажется, воздуху наберу — и сейчас облака раздую, честное слово.

Вдали растянуло-растацило тучи. Солнце осветило прямо и просто, отверзло лазурную высокую чистоту, отразилось в черном бокастом, жуково-округлом джипе, в луже у крыльца с утонувшей травой и куриным пометом.

— Зови гостей, мать!

Сдвинутые столы накрыли, как на свадьбу, на улице.

— Во, мать, расставляй: пиво «Специальное», а это дыни, режь, конфеты «Третьяковка», колбаса, сыр «Барбарин»...

Гости собирались на новость: «Приехал Петро, да — богатый... Объявился».

Выпили, скромно накладывали в тарелки картошки, потянули странную колбасу на вилках, сыр с крупными ноздрями. Тарелки у всех были важно полупусты, но только до третьей рюмки. Данила пытался шутить, веселить гостей, загадывал старые, забытые и оттого без решения загадки:

— А вот угадайте-ка, кто над нами вверх ногами.

Смотрели вверх, на телесно-выпуклые, величественные нависшие над столами сучья тополя, на сквозившее синью небо в них, не могли догадаться, все обычно, ничего такого загадочного.

— А... что сырое не едят, а вареное выбрасывают?

И опять нависало легкое гостеприимное молчание.

— Лук, — подал голос кто-то.

— Тост... Тост...

— Это у нас директор Силкин, когда еще косили в лугах и столовка там была, у парома... Ему щи принесли, официантка принесла, а он ей: «У тебя пальцы-то во щях». А она: «Ничего, они не горячие...»

— А-а, побрезговал. Небось, теперь не побрезговал бы, когда развалили все, да поздно...

— Это что же за машина, Петь?

Петр, весело и грустно глядевший на собравшихся, насмешливо закинул голову.

— Которая, эта? Рабочая наша. Поди, и не видал такой. На охоту ездим. Еще три разные, в офисе.

— А ты что же делаешь в этой машине? В офисе?

И Петр сбивчиво и с явной насмешкой над глупостью деревенских, стал объяснять, что он — инспектор по безопасности, а проще — личный охранник...

— Телок?! — воскликнул кто-то, и все засмеялись.

— Это ты «телок», понял, а я — личный...

— Кто же на него нападает, на твоего шефа, от кого ты его охраняешь? — близоруко пущаясь от солнца и похватывая корявыми перстами лысеющую голову, всерьез ничего не понимая, спросил Данила. Матери не понравилось, как сын перемигнулся с водителем, оба засмеялись:

— От людей, батя, от народа лихого. Может, ты не слышал, в Москве на Рублево-Успенском уже противотанковые рвы роют.

— Что ты? Кто же вступил-то в Москву? Не кавказец?

За столом засмеялись, но уже как-то сдержанней, невесело.

— А медаль-то за что же у тебя, тоже за охрану?

— Какая медаль?

— Вот, — оглядывая с гордостью гостей, мило улыбнулся Данило, — ай ты забыл? Та, что ты прислал, с фотографии.

— А-а, эта? У меня их много, медалей-то, там, дома, в городе.

Данило с гордостью обвел всех глазами, Степанида сложила губки.

— Ну, сынок, расскажи, как там было, на войне?

— На войне плохо, батя. Что тут расскажешь, — насыпая в рот соленые фисташки и запивая их пивом, рассказывал Петр. — Жрать нечего. Даже тому, кто с медалями. Дело дрянь... Плесни еще виски. Эй, эта бутылка пустая, «покойника» под стол! На столе пустой посуде не место, примета такая. Чтобы жизнь полней.

Шофер, спохватившись, спустил порожнюю бутылку, поставил ее на землю под ножку стола.

— Бать, а где же Витька-Ступа, Володька Лихой?

Отец опустил голову:

— Нет никого.

По наступившей тишине застолья стало понятно: кто спился, кто потерялся в жизни. Нет детства и нет юности. Все проходит, особенно в нынешнее время...

— А все-таки, кого ты охраняешь, если не секрет? Генерала? Чего отшучиваешься, или в разведке? В госбезопасности?

— Круче бери. Генерального директора «ЗАО Термокор».

— Что же это за фамилия, или должность такая? Кто же он, какой нации?

— Нашей, батя. Наверное, нашей. Не уточнял. Это, как если бы ты предколхоза своего Силкина охранял, — несколько тушуясь за явную глупость отца, «нетолерантность» его, попробовал перевести все в шутку Петр. — Какая разница, какой он нации, твой Силкин, лишь бы платил хорошо, приплачивал, а? Или нет?

— Та-ак...

— Ты чего погрустнел, батя.

— От кого же мне его охранять, председателя моего?

— Так говорю: от злых людей. А больше того — от бедноты нынешней.

— От бедноты? А я кто, а мать твоя? А ты сам? Или разбогател ты? Где ж твое богатство...

— Нет, но скоро разбогатею.

За столом приняли шутку, засмеялись, но как-то невесело, принужденно.

— А чего ж его охранять, Зао? Или он вор, или растратчик?

Петро с шофером опять переглянулись, засмеялись:

— А то — нет?! Ты ж посмотри, как вы живете, посмотри сам, батя.

И это — жизнь? Денег нет, деревни нет, поля не засажены. Мы — вон откуда, от Бастаново ехали — все пусто, шаром покати. На полях одни безрезки, да так густо — уж и тот не проползет. Только ты один: «кузня да кузня», ходишь как заведенный, мать — и та жалуется. После войны, поди-ка, так не было, а?

— После войны. После войны — так и было. Только лучше: вера была. Каждую весну цены снижали. Да ведь и теперь — война? Война, похоже, и не кончалась. Ты же вот воюешь, герой?!

— Воюю, батя. С дураками и патриотами, — пьяно и шумно вдыхая, раздувая ноздри с удовольствием, подтвердил Петр. — Воюю... То у хаты сижу всю ночь как собака, пока он с телками занимается. То у ресторана или казино жду его, «папу». Если выиграт, то по тыщенке накинёт, а проиграет — станет нервы трепать, — курить одну за другой, орать не по делу. Я уже издалека знаю: руки в карманах, орлом глядит — выиграл. Если запнулся по дороге или на лестнице, то хайся, добра не жди. Так что ль, Валера?

— А нам что, нас гребут, а мы крепчаем!

— Знаешь, батя, вот ты все намекаешь, что мне сладко. Оно так и кажется, конечно. А я так тебе скажу: и он, и все кто с ним — другой породы. Это раса кровососов. И я не то что охранять, а сам задавил бы его, веришь-нет?.. Надоел. Это есть вампир. Сам суди, день у меня начинается в пять утра. Квартиру снимаю в Подмосковье, в Москве самой — дороже раза в три. Вот и езжу — на работу два с половиной часа, с работы — столько же. Или живу в офисе его неделями. Он выкупил этот «офис», казенный. А знаешь, что это прежде было? Детский сад. У детей отнял, взятку дал, евроремонт сделал. Считает за свое. Пальцем, заметь о палец — ни-ни, не ударил. А работа его, знаешь, в чем? Подряды московские перекушает на строительство — и перепродает. И еще — в «Газпром» мотается. Все. А нефть, газ — они его, что ли? Вот она, работа: в семь ноль-ноль получаю оружие, тут все по-серьезному. Три «подснежника» — рации-малышки такие. К девяти — подача машины. Часа два-три я жду его, когда он выйти соблаговолит. Звонить нельзя: разбудишь, что ты... Везем в офис-детский сад. Там ежедневно — широкий стол. И вот наезжают. То из одной партии, то из другой. Конкретные люди. Только успевай вино подвозить. Потом — до четырех-пяти дня мотаемся по охотничьим магазинам Москвы, по друзьям его или по медицинским центрам. А впереди еще ночь без сна и казино, рестораны. Один закроет, он в другой, в ночной. Однажды нищая подошла — «подай», а он — «бей ее»...

— И что, ты бил?

— Другой раз, напился он с дружкой пьяным в ресторане и давай черной икрой с чайной ложки стрелять. Да и попал не тому. Опять я за него впрягаться...

— Наняли — продалси...

— Ему ничего, а меня — в обезьянник. С бомжами сидел сутки. Вонь, чуть живой. А он пришел: «Что не рад меня видеть?»

Шофер Валера, глядя во все глаза на Петра, вдруг захохотал.

— А ты не знал? Пришел — и хоть ручки ему целуй.

— Поп он, что ли? — Данила незаметно плюнул в ладонь колбасу сырокопченую, сбросил под стол. — И ты что, на его деньги этот харч купил? Неужто ручку целовал?

— Ты что, батя. Да я бы в горло ему вцепился, деньги нужны. И так выпустили, говорю же — шутка, ты что?

— А мы вот что, не вашим, не нашим, давайте Машутке письмо напишем, ото всех нас, прямо сейчас, — вдруг предложила мать. — Я знаю адрес, сейчас принесу.

За столом оживились. Начали писать, говорить вслух, предлагать: «Нет, а давайте так... Да все без толку: звонил и звонил мобильный телефон у Петра, не давал сосредоточиться, спорили. В наступивший в очередной раз тишине, повисшей после звонка, вдруг грозно и зло прозвучали слова Данилы:

— Так в чем же твоя работа, Петро?

Тут уже и мать не выдержала:

— Отстань, в кой веки приехал сын на побывку... Достал, донял.

— Вот так, как теперь, звонки и звонки. Вот она и работа. Проблемы решаю: то в офис пошлет, то за телками... Сам ходит вот так, в золотых очках... Вот так ходит. Руки за спину, как по зоне. Или так — полы пальто распустит, не идет, а летит, как петух карманный. То за французским вином пошлет, то за билетами на самолет. Но вот если с утра с бокалом уселся за виски, то все, пошло-поехало. «Царская Охота», «Медок», рестораны-казино. Но бабы все разные, понимает толк. Он забавляется, а мы с Валерой в машине — сидим-спим. Раньше выгонял на улицу, даже зимой, а потом ничего, привык... Она, телка-то, только вот так вот, откроет дверь машины, когда все сделает, сплюнет — и все. Как говорится, если хочешь поработать — ляг, поспи и все пройдет. Верно, Валера? Врать не буду, работа — не бей лежачего. На-ка, батя, я и вам с матерью денегат привез. Ты что так смотришь, глаза выпучил? На-ка, мать, он не в себе от радости.

— Это кто же такие на них, — с интересом разглядывая голенькие, как лубок с весенней берестой, бумажки, спросила мать. — Никак они повешены, гляди, горла-то как затянуты.

— Не повешены, мать. Это американцы. Президенты их.

— Ну-у, чаво есть-то... Мериканцы... Только у нас ведь, Петя, эти деньги в сельмаге не возьмут, нет.

— С руками оторвут!

— Ты на кого ж работаешь, если тебе американскими плотят? Он что, тоже из них, их человек, твой Зао-Термокор, или он — наш генерал, русский?

— Наш, наш, успокойся, батя, с шалавами он все играет, а я под дверями сижу, охраняю, такая работа. Не работа, лафа.

— А девки-то все, поди, молодые? — подал угодливый голос кто-то из гостей.

— Молодые... Детей любит. Нимфеток. Так и называет, люблю, говорит, их, сладенькие...

— Ладно, Петро, за тебя. За то, чтобы ты бросил свою работу, своего генерала и вернулся к нам. А то вот мать-то твоя задыхаться стала, еле ноги таскает, мехи-то качать...

— Купишь коровенку. Сенов наваляешь...

— К нам! Только к нам! — вдруг рявкнул отец, — К черту генералов иностранных и сенаторов! Где сокровища ваши, там и сердце ваше! — сдвинув брови, он так ударил в столешницу, что посыпались рюмки и плеснуло красным компотом из кувшина.

— Куда? В твою кузню, что ли? Да и какого генерала бросить, я и на войне-то и не был.

— Как не был, а медаль?

— Медаль? Фотошоп. Сейчас объясню. Программа такая есть на ком-

пьютере, «фотошоп». Да не ж... а фотошоп из интернета. Любую фотку за бабки. Хотя с президентом, только плати. И работа, объясняю, не пыльная. Не навоз вилами бросать. Дипломатик, телефон, рация, пистолетик. Ну, билетик купить прокатишься. В «Люфтганзу», в Европу, Америку или на Кипр билетик купить, и все...

— Петро! Прокляну!

— Брось ты, батя. Век высоких технологий, наносистем, а у тебя свинья по сенам ходит, а дом-то — это не дом. Халупа. Поди-ка по весне течет — живого места нет? Нет, я этот тост пить не буду. А лучше вот предлагаю выпить за то, чтобы эту вашу деревню похоронили скорее, смели бульдозерами, а стариков дети в города повывезли. Пусть хоть под конец жизни поцарствуют.

В наступившем молчании соседка Нюра встала и, всхлипнув в ладоши, вышла из-за стола. За ней поднялись еще двое.

— Валера, дай-ка там нашу, песни молодости, а то несут тут какое-то ретро, тоска!

Валера покрутил ручку, и из машины уверенно и мелодично затянул «Битлз».

— Приглашаю на танец, Надежда, — протянул руку Петр подруге детства. — Надеюсь, ты-то не как эти, отсталость, мхом поросшая.

— На лето приезжаю. А теперь останусь. Не смотри удивленно: кризис. В городе три завода — все встали.

— Корову заведешь, как мне советовали? Или все-таки козу, с ней полегче? На кол привязал и того, отдыхай, любуйся видами.

— Не хохми, Петька, каким был, таким и остался.

— А я нет, я, Надюха, чтобы сюда жить? Ни за что. На три дня, шеф отпустил — и... только меня тут и видели. Чего смеешься?

— Молодежь танцует! Вся молодежь танцует! — Валерка выскочил, уронив табурет.

Петр так увлекся Надеждой, что когда оглянулся, увидел пустой стол с недоеденной снедью, Валерку, справлявшего малую нужду тут же, под тополем, да старуху-мать, которая помогала отцу взойти по крутым ступеням в дом.

— И чтобы сегодня, сейчас же, — яростно неслось с крыльца... — Чтоб духу их тут не было, тьфу! Войска! Я голод пережил, войну, но чтобы в холуи, в лакеи — никогда... Сенаторы! Президенты! Генералы! В услужении... всю Россию, а как же мы...?

— Уймись, уймись, неугомонный, ведь люди кругом, позор-то.

— Ну, батя, надрался... Хочешь верь, хочешь не верь, а я его таким вижу впервые. Староват стал, рюмки и той пить нельзя... Так ты тут одна, Надежда, а муж?

— Обьелся груш, — слабо отбиваясь от ухажера, Надежда жалко скривила губы. — Давно уж одна. Оставайся и ты. Тост за это подняли, оставайся. Вместе козу заведем. Вместе и пасти станем. На кол привяжем — и за любовь, а?

— Так я к тебе приду на ночлег, а то, видишь, батя-то выгнал меня. Молчишь?..

Ветер шумно налетел, заиграл-запутался в тополе, посыпались-закружились сверху мелкие пахучие почки.

— Так что, остаешься со мной или что — опять «шеф», к «шефу»? Ну, чего задумался, гадаешь: одобрит ли он твой выбор, «шеф», или не одобрит? — подмигнула насмешливо, в глазах заиграли искорки.

— Шеф-то, он одобрит, ты в его вкусе, — вызывающе окинул взглядом Петро всю ее с головы до ног. — Шеф — он в женщинах толк знает. А все-таки насчет козы... вот тут есть сомнения.

Заботливая рука матери появилась из окна, торопливо искала створку, стала затворять, а старик все буянил в доме.

— ...И чтоб ни ноги его, слышишь, мать! Перед всем народом! Так отца обмануть! Так подвести! — опять горячился Данила.

Упал с грохотом табурет, покатилося что-то со звоном, загремело. Кастрюля, что ли? Отец выглянул, отмахиваясь от Степаниды, едко заметил:

— А-а, вы еще здесь, работнички, Христа-про-да... — Степанида, одолев, утянула его в комнату. «Христа-про-дав-цы вы...», — неслоь оттуда.

— Он с какого года, отец-то твой, — спросил Валера задумчиво.

— С тридцать шестого.

— Понятно. Военное поколение. Матросов, Мересьев, Гастелло... Родина, честь, слава... «Жила бы страна родная, и нету других забот...»

— Вот-вот. Вот он, истинный свет. Задурили голову им. Все сто лет так народ дурили: сутками, без сна, паши как трактор, и все за выпел или за почетную грамоту, вот у них мозги и свихнулись. А помнишь, Надька, как нам учительница декламировала: «...И чтоб, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому дорогому — борьбе за освобождение человечества!»

— Ничего вам не понятно. И не поймете никогда. Островский, Корчагин. «Как закалялась сталь»... Надо было, Петя, и книжки читать тоже. А то ты все только в трясучку, на мелочь, да впристеноч... Наиграешь, бывало, полные карманы. Сердится отец-то, значит, есть причина.

Петя, прикуривая, прищурился:

— Вот ты училась, отличница, и что толку? Посмотри на меня и посмотри на себя. Ну что, примешь на ночлег или в машине ночевать нам?

— Иди ты... в машину!

Надя повернулась и бойко и гордо двинулась улицей.

— Иди, иди, да смотри не передумай... Тоже мне — цаца. Знаешь, Валера, сколько она мне крови попортила...

— Смотри, Петя. Какая, а... Не идет, а пишет.

— Не пишет, а рисует.

— А знаешь, Петя, что сказал мне ее взгляд? Он сказал мне: не учите меня жить, лучше помогите материально.

Степанида усталая, простоволосая, с небрунными седыми волосами и с косынкой в руке медленно сошла вниз по ступеням крыльца.

— Ну чего он там, отец-то? Не угомонился?

— Под иконой стоит на коленях и крестится. Ой, Петя, до чего страшно крестится-то. Медленно, широкие кресты кладет, а сам как каменный будто. Я знаете что, ребятки, я вам в баньке постелю, на воздухе, от греха. Ночи уже теплые. Я вам хорошо постелю, уютно, подушки у меня — пух в атласе. Вы вот только хистолет-то свой спрячьте подале. Спрячьте. Не обессудьте меня старуху: уж больно зло крестится-то, истово...